

## ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОШЛОГО В СИТУАЦИИ КОНЦА ИСТОРИИ

---

**Аннотация.** Обсуждаются и оцениваются жизненные приобретения и потери, связанные с состояниями-процессами насилия и ненасилия человека над своим умом и ума над человеком. Очерчиваются рациональные рамки экзистенциального опыта. Концептуально соотносятся друг с другом идеи событийного ряда, истории, вечности, времени, прошлого, настоящего. Раскрывается специфика всякой мысленной, теоретической реконструкции исторического процесса. Рассматривается и уточняется феномен конца истории, анализируются характерные черты коррелятивной ему историографии. Отношение к «эку сталинизма» позиционируется автором как существенный момент переживания настоящего прошлого своей страны.

Методологической основой размышлений выступает экзистенциальный реализм, сопряжённый с диалектикой.

Социально-исторический опыт понимается неотделимым от экзистенциального опыта, включённым в него. Экзистенциальный реализм трезво, без истерики относится к более чем возможному концу истории, резко отмечая при этом чрезмерно идеологизированные его сценарии. Всерьёз принимаются только два: катастрофический, апокалиптический — всего лишь как вероятный; хронический, вялотекущий, со зримыми чертами фарса — отчасти уже имеющий место быть. Главной особенностью реконструкции прошлого в ситуации расплывчатого конца истории является зримо проступающая тенденция к сокращению, и без того усечённой историзмом, дистанции между позицией интерпретатора и чередой произошедших событий, а также к схлопыванию временного зазора между отдельными событиями.

**Ключевые слова:** настоящее, прошлое, событие, экзистенция, переживание, опыт, человек, история, историография, конец истории.

### Насилие и ненасилие ума (рациональная канва экзистенциального опыта)

Знание — сила: созидательная и разрушительная по отношению к себе и иному. Откуда и отчего оно возникает — в форме удостоверенной и проверенной мысли — в человеческом сознании? Уж точно, не от бессилия, во всяком случае интеллектуального, не от слабоумия. Жизненный опыт показывает, что явление мысли, впоследствии подтверждаемой в качестве истинной, обычно требует от нас усилий. Мы напрягаем свою психику, свой мозг, всё своё тело. Расширение границ сознания посредством манерного — психоделического — расслабления организма есть результирующий частный случай приложения сил, здесь — биохимических или акустических. Важно установить рубеж, наверняка существующий, между усилиями, нашими и нашего ума, и насилием, творимым нами над собой, над

собственным разумом. Разница обнаруживается в объёме доказательств, представляющихся необходимыми. Избыток силы, превращающий усилие в насилие, требует компенсации в виде дополнительных аргументов в пользу истинности удостоверяемой мысли. Правота данного тезиса косвенно подкрепляется известным фактом интуитивного прозрения: изредка нас осеняет идея, содержательно ёмкая и лексически стройная, истинность которой несомненна, а прямые затраты на её обретение минимальны. Вымученные доказательства отягощённого ума никогда не станут исчерпывающими. Напротив, они наглядно демонстрируют ограниченность логической, интеллигибельной сферы, подталкивая нас к выходу за её рамки, к возвращению в мир физический, телесно-вещественный, материальный. Речь тут не столько об общественной практике и коллективном труде (они в каком-то смысле бестолково-длительны и оставляют на нашу долю

банально-мудрёное взвешивание вероятностей), сколько о выразительных индивидуальных актах, лаконично запечатлённых в мимике, жесте, телодвижении. Скажем, проговаривается утверждаемый тезис, в параллель или сразу за ним следует удар кулаком по столу, дополняемый, по вкусу, нетривиальным каламбуром, крепким забористым словцом или нечленораздельным звуком. Эти жизненно оправданные усилия нашего единого психосоматического существа выступают одновременно насилием над каждой из его сторон, стремящихся к отъединению и обособлению, прежде всего — над областью чистых умозрений.

Вычерченная картина позволяет приоткрыть глубинные корни всякого насилия. Они заключены в раздробленности, расколотости мироздания и в желании субъекта, индивидуального или коллективного, восстановить или добиться целостности, реальной или хотя бы кажущейся, действовать от её имени. Безнравственность, гадливость отдельных персон и партий цинично усугубляет ситуацию, но не зачинает её. Понятна притягательность насилия — экзистенциального, культурного, социального, — проводимого ради отсутствующей ныне, но перспективной полноты: осуществляемого под флагом реставрации или перековки Человека, под лозунгом возвращения к Золотому веку или прорыва к Светлому будущему. Мерзкое, вульгарное принуждение проистекает из мнящейся вседозволенности, с позиции заведомо ложной, якобы имеющейся полноты, когда частное превосходит (в физической силе, интеллектуальных способностях, социальном статусе...) неоправданно абсолютизируется. Очевидна неискоренимость насильственных форм и поступков, возвышенных и низменных, из приватной и публичной жизни людей. Оттого, что я вправе переламывать себя, не следует, конечно, что я вправе ломать других. Как не следует, впрочем, и то, что эта моя акция исключительно автономна и не затрагивает, не коробит окружающих. Такова мягкая версия морального вердикта касательно живучести насилия. Жёсткая версия: существо, готовое на самоубийство, а человек именно таков, готово на уничтожение некоторых или всех других живых существ. (Поэтому с террористами-смертниками стражам порядка никогда не совладать.) Можно сколь угодно апеллировать к правовым, этическим и религиозным нормам, уповать на гуманистический идеал и идею ненасилия — надёжнее, однако, держать ухо остро и быть готовым в любой момент дать отпор

агрессору: с запасом, с контрольным выстрелом, так, чтобы впредь неповадно было, никому. При том что наличие достойного врага — удача, столь же редкая, как и обретение верного друга.

Спустимся с верхотуры моральных суждений о насилии к их экзистенциально-онтологическим основаниям, к ранам и ссадинам в сущности человека, к определённом раздраю и напряжению между и внутри её сопрягающихся сторон: природно-биологической и социально-культурной, физической и психической. Не рудиментарные животные инстинкты и не их искусственное подавление ответственны напрямую за творимое и претерпеваемое людьми насилие. Особенно нелепы обвинения в адрес наших звериных истоков. В природе нет ни насилия, ни ненасилия, там есть тотальность и полнота стихии, безразличная, скорее всего, к отдельным особям, видам и родам. Она, разумеется, осложняет нам жизнь, размывая регламентируемые культурой границы допустимого и недопустимого, но сама-то жизнь ею, природной стихией нам и дарована. Претензии к культуре и обществу, к традиции и истории более основательны и конкретны. Религиозная традиция, давно распознав, что убийство узаконивается возможностью самоубийства, пытается обесценить, табуировать последнее. Но в итоге лишь провоцирует человека, подталкивает его к акту самоуничтожения: если люди не способны сравниться с Богом в силе созидания, то способны посостязаться с Ним хотя бы в силе разрушения. Светская традиция априори не в состоянии дискредитировать самоубийство, а стало быть, и всякую агрессию: если над людьми нет иного властителя, кроме всевластия смерти, то регулировать и управлять ею в наших интересах. Культура насилует природу в своём стремлении достичь аналогичной, максимальной степени полноты. И никогда её не достигнет. Во всяком случае, культурный демарш по ту сторону добра и зла всегда будет манерным, не стильным, уступающим естественной бесценности природы. Культура ответственна за творящееся зло, но она не существует вне помыслов и действий людей. Непосредственный, главный виновник и ответчик за воспроизводимые в мире издевательства и притеснения — человек. Не обязательно, увы, «отморозок». Зачастую — рядовой обыватель. Не желающий или не могущий экзистенциально снимать природно-культурную и биосоциальную дуальность и вытекающие из неё противоречия, либо вовсе не замечающий ни их, ни собственной ущербности.

Человеку — даже ответственному, экзистенциально ориентированному, вроде бы не склонному к насилию — выстоять нелегко. Его усилия, интеллектуальные в том числе, тяготеют то к недостатке, то к чрезмерности. Он понимает: лучше недосказать, чем наговорить лишнего. И одновременно констатирует, что в структурах его ума изящные интуиции сосуществуют с громоздкими дискурсивными подпорками, ценность которых не бесспорна, но удалить которые он не решается. Авьось, забудутся сами собой... Ратуя за экзистенциальное единство, он категорически отвергает рефлексию, трактуемую как взгляд на себя со стороны, усматривая в этой конфигурации каркас интеллигентного высокомерия (атрибутивное встало на место субстанциального), плацдарм для третирувания психосоматической натуры, своей и *другого*. Взгляд изнутри вернее внешнего наблюдения. Мысль, не относительно истинная, есть мысль, органично присущая субъекту, не отстранённая, личностно фундированная. На такую экзистенциальную правку *ratio*, претендующее на культурную автономию, отвечает, мстит незамедлительно. Оно заставляет нас быть логичными: не перечить ему, не противоречить себе. На выручку человеку приходит диалектическая философия. Оказывается, можно быть противоречивым, перечить себе и манкировать общезначимым, — и вместе с тем быть логичным. Можно и нужно быть диалектиком. Допустима и корректна иррациональная рациональность (рациональность философского иррационализма). Предосудительна рациональная иррациональность (рациональность религиозного иррационализма, интеллектуализированная интерпретация Бога). Диалектика насильственна по отношению к формальной, бинарной логике. И это жизненно оправданное насилие. Хлётский аргумент уважаемого А.А. Зиновьева против диалектики: «Не верно, что нельзя войти в одну реку дважды, как не верно то, что нельзя дважды переспать с собственной женой», — парируется тем доводом, что в обоих случаях второму разу лучше быть как первому, чтоб ощущения не притуплялись.

Философу незачем скрывать свои идеи и незачем их рекламировать, натужно насаждать. Они интересны немногим. Кого-то они подбодрят, кого-то огорошат, кого-то озлобят. Что ж, не привыкать... Ответственно выговаривая и выписывая мысль, не стоит обращать внимания на упреки в агрессии. Человек, претерпевший физическое насилие, вызывает сочувствие. Природное или техническое

превосходство противника порой действительно нечем компенсировать, и смекалка поможет не всегда. Человек, жалующийся на интеллектуальное насилие (не подкреплённое физическим и техническим прессингом), вызывает иронию, нередко язвительную. Ты уже не зверь и пока не робот — защищай себя сам от идеологической дрессуры и промывания мозгов!

### Исторические ретроспекции: на финишной прямой

Существует два основных сценария заключительных аккордов человеческой истории. Один — катастрофический, апокалиптический. В нём финиш исторического процесса равен исчезновению цивилизации людей, их биологического вида или даже всех форм жизни. Это подлинная трагедия: каждый потеряет близкого. Если она произойдет — в результате природного, техногенного или военно-политического катаклизма, — то будет, надо надеяться, скоротечной. По другому сценарию конец истории — хронический, вялотекущий, со зримыми чертами фарса — напрямую не совпадает с гибелью мира и не вызывает, во всяком случае, абсолюта пессимизма. Подсказку даёт личный опыт. Завершения скучной и бестолковой череды эпизодов ждёшь с нетерпением. Как, впрочем, и галопирующего развёртывания, пусть и вменяемых по отдельности, сценических картин. Если и вправду исторический финал не столь уж безысходен, то и весь предшествующий ему временной путь тогда, наверное, отнюдь не безупречен.

Идея истории, т.е. в целом закономерного течения и рассмотрения событий во времени (и пространстве), при её появлении в культуре была призвана приземлить и взбодрить идею вечности. Обратное воздействие безвременного и пребывающего на временное и становящееся особых беспокойств поначалу не вызывало. Напротив, скорее обнадеживало: ведь вечность давала старт историческому движению и, подпирая собою его, обеспечивала тому устойчивость. Однако «первородно-вечный грех» истории оказался для неё в определённом смысле фатальным. И не только потому, что всё рождённое непременно должно истощиться и умереть. Сам хронический путь к финишной черте, длительный маршрут, во многом копирующий вечность и постоянно заставляющий оглядываться на неё, и особенно его видение оказались изрядно обременены превратным содержа-

нием. Историзм — как принцип, как методология — вольно или невольно сплюсчивает диахронию в синхронию. Те события, которые объективно следуют друг за другом по цепочке, в колонне по одному, при их репрезентации субъектом расставляются, по сути, в единовременную шеренгу, выписываются на статичном панорамном холсте. Они представлены на разных страницах — всё же одной книги, реконструированы и документированы в разных залах — одного таки музея и архива. И никакие мудрёные приёмы дипломированных историков-теоретиков, профессионалов архивного и музейного дела, никакие ухищрения дилетантов ситуацию кардинально не поправят. Поставить экспонаты на колёса, придать отдельным артефактам видимость внутренней динамики, превратить хранилище древностей в трансформер, конечно, можно, но воссоздать диахроническую композицию без изъяна всё равно не удастся.

Впрочем, проблема оказывается удручающе неразрешимой только в том случае, если мы с осознанным самозабвением или бездумно продолжаем играть в объективизм, постулируя возможность, необходимость и желательность получения абсолютно точной сенсорно-интеллигибельной копии с жизненного оригинала. И это вместо того, чтобы каждый раз обстоятельно определять позицию наблюдателя-толкователя, а вместе с ней долю и структуру антропоморфной компоненты в приобретаемом знании. Объективист, видно, не задумывается над тем, что предельно точным окажется тот дубликат, который ничем не будет отличаться от подлинника. Постмодернистские желания, пафосно бичуемые объективистом, латентно присутствуют ему самому. Хронологически первая версия историзма, опиравшаяся на циклическую событийно-временную парадигму, ещё позволяла независимо от усилий познающего субъекта, т.е. поистине объективно, сталкиваться с ничуть не искажённым регулярным воспроизведением некогда произошедшего, а следовательно, вправе была и от человека настоятельно требовать отстранённо-однозначных репродукций реальности. Хотя имплицитно проблема субъекта и его местоположения даёт о себе знать и тут. История должна состоять не из одного, из нескольких витков — иначе она совпадёт с вечностью. Однако зафиксировать наличие именно нескольких витков можно лишь тогда, когда они чем-то отличаются друг от друга. Стало быть, буквальный повтор событийного ряда невозможен, как невозможна неизменно точная

ментальная копия того, что происходит за рамками сознания. Кокой-то образ ближе к прообразу, какой-то дальше. Ролью субъекта в отыскании истины пренебречь уже нельзя. При размыкании цикла, в линейных моделях исторического процесса субъектная детерминация кратно нарастает.

Для человека прошлое всегда существует как настоящее прошлого, и с этим ничего не поделать. Стоит лишь пересчитать, сколько раз за последние сто лет в нашей стране переписывался учебник истории (и не новейшей, а давней), всякие сомнения касательно неустранимой ангажированности дней минувших днём нынешним отпадут моментально. И только кондовый оптимист будет утверждать, что содержание учебника от версии к версии становится объективнее. Но вернёмся от иллюстративной эмпирии к теории. В крайних точках исторической линии прошлое вовсе отсутствует: его либо ещё, либо уже нет. Люди там или пока не возвысились до мнемы, или безвозвратно впадают в беспомытность. На последнем отрезке (возможно, и не коротком) исторической кривой память скрадывается, тушуясь перед изобилием фантазий и виртуальных химер. Она не стойка и не спасительно-избирательна, какой бывала, а до цинизма тотальна («Помнить всё!») и жеманно податлива к калейдоскопическим трансформациям и мутациям.

Главной особенностью реконструкции прошлого в ситуации расплывчатого конца истории является зримо проступающая тенденция к сокращению, и без того усечённой историзмом, дистанции между позицией интерпретатора и чередой произошедших событий, а также к схлопыванию временного зазора между отдельными событиями. Чувство дистанции — аристократическое чувство. Его утрата бьёт не только по объективистской догматике, но и по субъект-центрированной позиции, которая стремится преодолеть безответственный субъективистский произвол. Тенденция к умалению и игнорированию расстояний, сегодня она глобальна и просматривается без труда, закономерно перерастает в склонность к перетряхиванию историографического полотна, к модификации его структуры. Неудивительно, что мировым исследовательским трендом стало изучение микро-истории (неслучайно совпавшее, кстати, с пристальным вниманием к пограничным состояниям и поверхностным эффектам в других отраслях науки, точнее, с новым поворотом в них, когда поверхностно-пограничные феномены подаются как квазиобъёмные, исчерпывающим образом репре-

зентирующие весь изучаемый предмет: к примеру, углерод и графен как атомарный монослой углерода). Не будет большой натяжкой утверждать: микро-история — одна из вариаций нанотехнологического ажиотажа. Для макро-исследований, и не обязательно объективистски ориентированных, необходим иной ракурс, нужна дистанция, которой на финишном отрезке не сыскать и не выстроить.

Помимо повсеместной теперешней моды на микро-историю, симптоматичны локальные, в частности русские, попытки за счёт прошлого сократить длину исторического пути человечества. Как бы ни относиться к концепциям Н.А. Морозова и А.Т. Фоменко, они показательны и культурно фундированы — обе революционно скопированы с монотеистической эсхатологии. Та видит в предапокалиптическом земном существовании людей изнуряющую дорогу греховных блужданий. В эпоху смерти Бога эмансипированные, но не исчезнувшие из коллективного сознания эсхатологические мотивы настоятельно подталкивают к отсечению сомнительных временных излишеств и настраивают на спокойное, а иногда и на авантюрно-азартное, отношение к хронологическим пертурбациям. Сужу по себе. Прокручиваю в голове несложный эксперимент. Что произойдёт, если вдруг завтра авторитетнейшие эксперты нам сообщат о корректности и правильности «новой хронологии»? Для всех профессиональных историков, несомненно, это будет потрясением, для антиковедов — катастрофой. Меня же, признаться, подобная новация не очень тронет. Сосредоточиваясь на философских штудиях, с удовольствием, разумеется, перечитываю древних греков — с давно сложившимся стойким ощущением, что их гениальные тексты вполне могли быть созданы на основе жизненного опыта людей XX — XXI веков. Скажем, перерастание демократии в тиранию, описанное в «Государстве» Платона, почти буквально, вплоть до отдельных нюансов, репрезентирует аналогичные социально-политические эксцессы совсем недавних времён. Поэтому ни рьяно защищать, ни яростно опровергать гипотезы Н.А. Морозова и А.Т. Фоменко не вижу особой нужды.

Характерен неподдельный интерес (у кого-то апологетический, у кого-то резко критический — и этот-то особенно любопытен), который вызвал в России постмодернизм — с его то ли исторически, то ли аисторическими мозаиками. Отечественная культурная традиция далека, в определённом смысле противоположна рационалистическому

европейскому историзму. Она весьма строго детерминирует будущее и анархична к прошлому. В классическом европейском историзме зеркальная конфигурация: там прошлое трактуется устойчиво-закономерным (варьироваться могут лишь детали, коими, собственно, и призвана заниматься историческая наука), а будущее стохастично. Русский взгляд при утрате перспективы, чётких контуров будущего тесно смыкается с постмодернистской оптикой.

Ещё раз придётся вспомнить выпекаемый сегодня в симулятивных муках «единый учебник» истории. Вероятно, это будет первый в нашей стране единый учебник «конца истории». Он, обозревая прошлое из циничного, безыдейного настоящего, не решаясь очертить цель, передний горизонт социально-культурного развития, будет существенно уступать в мировоззренческом плане своим дисциплинарным аналогам, директивным книгам по истории советских и дореволюционных времён. Объективист наверняка возразит: если исторический процесс в самом деле выдыхается, то и соответствующий учебный предмет должен получить адекватное структурно-содержательное наполнение. Возражение здесь одно — но радикальное и жизненно твёрдое: за реальность, историю, женщину надо бороться, ни одна из них не даётся нам просто так, без усилий.

Заурядный, не апокалиптический конец истории означает скукоживание временной длительности, а вместе с тем и судороги соблазнённой и одряхлевшей вечности. Что-то ещё, конечно, происходит — но по сути ничего не меняется, качественно нового всерьёз не возникает. Скорее наоборот, мир становится одной сплошной Шуткой, не без причины пишет Фредерик Бегбедер, размышляя о судьбе одноимённого романа Милана Кундера. «Теперь уже вполне очевидно, — продолжает автор эссе, — что в начале 60-х годов Кундера, сам того не подозревая, был первым романистом Конца Истории»<sup>1</sup>. Да, герои чешского литератора грезят о примирительном сочетании однообразия и свободы, действительности предпочитают видимость, меланхолично констатируя победу имагологии (от лат. *imago* — образ) над идеологией<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Бегбедер Ф. Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей: Эссе / пер. с франц. И. Волевич. М.: FreeFly, 2006. С. 30.

<sup>2</sup> См., например: Кундера М. Бессмертие: Роман / пер. с чеш. Н. Шульгиной. СПб.: Азбука-классика, 2004. 384 с.

Ничуть не умаляя изящно оформленных интуиций М. Кундеры, одного из любимых своих авторов, не забываю и о других. Пьер Дриё ла Рошель за четверть века до того, в канун Второй мировой войны писал о соотечественниках-французах (аутентичных всё-таки европейцах): им хочется ужасающе малого, чтобы им дали «спокойно стариться... среди музеев и сберегательных банков, в поездках на рыбалку и в преступлениях на любовной почве, увлечениях кухней и чуть-чуть наркотиками»; «они не трусливы, но это ещё хуже; они бесцветны, мрачны, безразличны». И далее: «страна мелкой иронии, мелкого очернительства, мелкой критики, мелких насмешек, страна, где всё мелочно». Наконец: «...всеобщее безразличие показывает, что люди жаждут, чтобы всё кончилось. Они испытывают тайную потребность увидеть, как исчезнет то, что, однако, пока ещё является предметом их забот: комфорт, роскошь. Им безразлична красота, которую они не знают»<sup>3</sup>. Перед нами более ранняя по времени и с большим надрывом переживаемая европейская версия исторической развязки.

В качестве упреждающего ответа с русской стороны уместно воспроизвести позицию В.С. Соловьёва (скорее отечественного европейца, нежели почвенника). Тут не обойтись без объёмистой цитаты из последнего прижизненного текста философа, его отклика на восстание в Китае в мае-июне 1900 года. «Что современное человечество есть больной старик, и что всемирная история внутренне кончилась — это была любимая мысль моего отца [выдающегося историка С.М. Соловьёва. — А.Ф.], и когда я, по молодости лет, её оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут ещё выступить на всемирную сцену, то он обыкновенно с жаром подхватывал: «Да в этом-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы отыщешь? Те, островитяне что ли, которые Кука съели? Так они, должно быть, уже давно от водки и дурной болезни вымерли...»<sup>4</sup>. Уничжительная характеристика распространяется следом на краснокожих американцев, представителей негроидной

расы и «авангардного» четвёртого сословия. Без всякого политкорректного ханжества. Нынешние либералы и плюралисты враз пригвоздили бы степенного историка, русского западника, к позорному столбу «экстремизма». Но жизненно весомых контраргументов от них не дожидаться. Пресытившаяся и обветшавшая Европа, с размытыми границами мужского и женского начал, выказывает сегодня полное бессилие перед культурно и политически деструктивной экспансией мигрантов с колониальным прошлым. А философу с неохотой, но веришь. Похоже, «прежняя история взаправду кончилась, хотя и продолжается в силу косности какая-то игра [сценических — А.Ф.] марионеток...»<sup>5</sup>. Действительно, историческая драма сыграна, остался только эпилог, «который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно»<sup>6</sup>.

Хотя, быть может, и нет. Не исключено апокалиптическое ускорение событий. Вот самый нерадужный и, увы, отнюдь не иллюзорный прогноз на историческую перспективу. Мир неуклонно движется к глобальной войне. Грядёт ожесточённое расовое столкновение и беспрецедентное сражение за территорию. Аргументы таковы. В современной цивилизации катастрофически много искусственной, манерной сложности, продуцирующей массу невынужденных, не имеющих положительного решения противоречий. Для их негативного, военного устранения, для разрушения вычурно-пустых цивилизационных конструкций будет востребован полярный — простейший — критерий разграничения на своих и чужих. Им как раз является расовый признак: тут не надо даже стаскивать штаны и задирать подол — всё на физиономии написано. Ещё важный момент. При нынешних темпах прироста населения планеты в течение одного-двух столетий будет достигнут физический предел удельного жизненного пространства. При этом масштабная миграция за пределы Земли технологически не будет возможна. Иными словами, войну способны спровоцировать не какие-то ментальные, политико-идеологические спекуляции, не идея, требующая продвижения и возвышения, не амбиции сильных мира сего, а элементарная теснота и толкотня.

Шумливый иронично-заунывный декаданс, перемежающийся кровавыми сполохами реаль-

<sup>3</sup> Дриё ла Рошель П. Дневник, 1939–1945 / пер. с франц. под ред. С.Л. Фокина. СПб.: Владимир Даль: Ювента, 2000. 602 с. (<http://www.fedy-diary.ru/html/062012/06062012-03a.html>).

<sup>4</sup> Соловьёв В.С. По поводу последних событий // Соловьёв В.С. Собр. соч.: В 10 т. СПб.: Просвещение, 1911–1914. Т. 10. С. 225.

<sup>5</sup> Там же. С. 224.

<sup>6</sup> Там же. С. 226.

ных, пока фрагментарных, крушений и бедствий. С ним свылся современный мир: либеральный в своей базовой — сетевой — структуре, с вкрапленными в неё элементами поверженных общественно-политических практик и идеологий: интернационал- и национал-социалистической, цезарепапизма и папоцезаризма. Сегодня нет особого смысла настаивать на культурно-географических различиях Востока и Запада. Доминирование либерализма, системы формального законничества, поступательно ведёт к детерриторизации социального пространства. Композиция ценностей отрывается от почвы, конкретного природного ландшафта, от естественных культурных корней и повисает в стерильно-безвоздушной среде, становясь безжизненно-плакатной. Постулат Антонена Арто, что «всякая истинная культура опирается на расу и кровь»<sup>7</sup>, вызывает ныне бурю показного негодования у конформистской публики, боящейся уже и собственной тени. Этнос, пол, отцовство и материнство, родина — страшит всё, что противится формальной редукции и возвращает индивидуума к природно-культурным реалиям. Надменно-пугливый ум в упор не замечает гротескных причуд внешне корректной повседневности: прибежище толерантности давно не отличить от дома терпимости. «Коммунизм мёртв, и фашизм тоже, а старый либерализм, измождённый, хихикает у себя в уголке и не замечает, что уже ни на что не похож»<sup>8</sup>. И посреди всего этого наслаждаются и скучат те, «кого непосредственно не коснулось зло»<sup>9</sup>.

Тут самое время без сожаления вспомнить: любой исторический феномен имеет свой предел, к счастью, либеральная благоглупость не исключение. Весомую и действенную альтернативу ей не отыскать в теократических проектах. Они избыточно противоречивы, сопрягая радикальную эсхатологию истовой веры с неспешным оппортунизмом земной церкви. К тому же у религиозной догматики немало общего с либеральным законопочитанием, обе установки, соблазняя человека относительной свободой, неизбежно зависимой от свободы Другого или других, исподволь превраща-

ют индивидуума в существо понукаемое и ведомое. Аксиоматическое всевластие нескрывается конвенциональных политико-правовых норм в косности не уступает сакрализованно обрамлённым положениям символа веры.

Не справится с итоговой экспансией либерализма и так или иначе, в национальном или интернациональном обличье, реставрированный социалистический проект. Потому, во-первых, что чередование и конвергенция бюрократического социализма и либерального капитализма как раз нагляднейшим образом свидетельствуют о хроническом финале социально-политической истории. Во-вторых, потому что общественно-политическая проблематика всё-таки не первична для человека: надстройка, как ни крути. Без лишних слов, например, ясно: лучше иметь за плечами всего эдак лет тридцать и жить под пятой капитала или номенклатуры, чем в семьдесят с копейками наслаждаться преимуществами развитого социализма или открытого общества западного типа. И никакие обвинения в натурализме и биологизаторстве не поколеблют данной жизненно важной констатации. Только реверс к природно-культурным основаниям и неэгоистично понятым экзистенциальным приоритетам способен отрезвить человека, вызволить его из дурманящего морока безразмерного исторического эпилога.

#### **Эху сталинизма — без ностальгии: экзистенциальный ответ на вызовы политизированного прошлого и настоящего**

История завершилась? В определённом — социально-прогрессистском — смысле, да. Общественный строй на Западе и на Востоке, колеблясь между полюсами *реального капитализма* и *реального коммунизма* (отсыл к А.А. Зиновьеву), между *спектаклем рассредоточенным* и *сосредоточенным* (отсыл к Г. Дебору), варьируется по государствам в процентных долях того и другого, в деталях. Социальная динамика, как представляется, не способна выдать в будущем ничего принципиально нового по сравнению с прошлым и настоящим: все общественные модели уже испробованы, их отдельные составляющие проверены на взаимозаменяемость. Социальная история, недомогающая от отсутствия фундаментальной событийной новизны, притормаживает, порой сотрясаясь в судорогах, а жизнь, с её неискоренимыми экзистенциальными борениями, продолжает свой путь, бывает, не замечая

<sup>7</sup> Арто А. Сюрреализм и революция / пер. с франц. Г. Смирновой // Арто А. Театр и его Двойник. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 252.

<sup>8</sup> Дриё ла Рошель П. Дневник, 1939–1945 / пер. с франц. под ред. С.Л. Фокина. СПб.: Владимир Даль: Ювента, 2000. 602 с. (<http://www.fedy-diary.ru/html/062012/06062012-03a.html>).

<sup>9</sup> Там же.

хронического общественного тупика. Исторический опыт подчинительно неотделим от опыта экзистенциального. Проговорённый и выписанный, он стилистически оказывается ретро-элементом и ретро-интенцией экзистенциального реализма — в противовес перспективистским ориентациям социального реализма, с которым вольно или невольно соизмеряет свои помыслы и действия собственно исторический человек.

Отчасти схожая мысль высказана Ф.Р. Анкерсмитом. Современная, в том числе постмодернистская, историография является, по его мнению, «результатом победы Романтизма над взглядами Просвещения...»<sup>10</sup>. Проигравшая сторона исходила из возможности достижения гармонии или, на худой конец, компромисса между разумным эгоизмом и разумным коллективизмом. Романтический субъект напрочь игнорирует социальный порядок, антагонизм между индивидуумом и обществом становится непреодолимым. В состоянии постмодерна, когда всё «указывает на тенденцию фрагментации, дезинтеграции, децентрации»<sup>11</sup>, субъект (или то, что от него осталось) априори в разладе со всякой всеобщностью и целостностью, в частности, социальной.

В упомянутом интервью Э. Доманске Ф.Р. Анкерсмит заметил, что сегодня его интересы переместились из области исторической теории в область политики. Сферой политического увлечены многие из моих коллег: кто в формате дискурса, кто в формате праксиса. О себе такого сказать не могу. У рвущихся во власть или ползущих к ней на карачках — свой мир, у тех, кто надеется прожить собственным трудом, — свой. Местами эти миры пересекаются, чаще — к сожалению. Но кардинально изменить тут ничего нельзя, как ни старайся. Приходится адаптироваться, минимизируя нежелательные контакты.

Моё неприятие фигуры Сталина обусловлено прежде всего двумя взаимосвязанными причинами. Первая. Сталин — политик, а к политикам, за редким исключением, я отношусь с антипатией. Вне зависимости от того, отечественные они или зарубежные, прошлых времён или нынешних, властвующей когорты или оппозиционной. Их про-

граммные расхождения здесь тоже несущественны. Правые, левые — одномандатно! Откуда такая неприязнь? Из жизненного опыта. Насмотрелся до тошноты: вместо того чтобы выстраивать себя, политики жаждут выстраивать других, руководить. Не имея на то, по обыкновению, ни морального права, ни, зачастую даже, соответствующих интеллектуальных способностей. Вторая причина. Деятельность Сталина, фактическая или мифологизированная, сопричастна вехам недавнего прошлого, которые повлияли и продолжают влиять на жизнь моей семьи. Роль, сыгранная в исторических событиях Сталиным или приписываемая ему, как и сами эти события, поданные под соусом сталинизма, оцениваются мной по преимуществу негативно. Опять же исходя из личного опыта. Глобальными масштабами пусть сразу начинают мыслить штатные страдальцы за народ и человечество, каждодневно спасающие всех нас сидя в мягких креслах своих персональных кабинетов.

Личный, экзистенциальный опыт обильно насыщен эмоциями. Но не в меньшей мере он фундирован рационально, в силу чего открыт для интеллигентной интерсубъективной проверки. Проведём несложный мысленный эксперимент. Пусть каждый спросит себя, в какой период советской эпохи он готов вернуться, чтоб пожить и поработать, представься сегодня такая возможность? Любопытно узнать, нынешние сталинисты охотно переместились бы в интервал 1929–1953 годов, в период гегемонии их кумира? Меня туда, признаться, не тянет. Пугают не реальные жизненные трудности, а их искусственное нагнетание. Никоим образом не хочу дегероизировать совестливых и самоотверженных людей того времени, не собираюсь чернить «нормального» советского человека. Но и восхищаться тоталитарным человеком не стану; попустительски забыть тех, кто идейно и безыдейно гадил согражданам, самодовольно наживаясь за чужой счёт, никак нельзя.

Рассмотрение событийного ряда отечественной истории XX века начнём, конечно же, с революции 1917 года. Революция — дело правое! Во всех, или почти всех, смыслах. Пока она ограничивается устранением прежней, зажавшейся социально-политической «элиты» и не перерастает в кровопролитную гражданскую войну. И ещё, пока не соблазнится эстетикой опрощения. Однако как ни права революция, запускают её маховик, по большей части, левые, троцкие и антоновы-овсеенки. Ленин осени 17-го несомненно левее Сталина и

<sup>10</sup> Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлёт и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Кашаева. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 181.

<sup>11</sup> См.: Доманска Э. Философия истории после постмодерна / пер. с англ. М.А. Кукарцевой. М.: Канон+, Реабилитация, 2010. С. 136.

многих старых партийцев, левизна которых, припозднившись, раскрывается только после захвата государственной власти. Левый старт революции легко объясним. Нужно ведь поднимать массы, апеллировать к ним, вещать от их имени. А как это повернуть, не эксплуатируя принцип равенства, фундаментальную левую идею?! Сталин, скорее, правый. И если в истории есть какая-то логика (а хотя бы и нет, но покажите мне сталиниста, который отрицал бы её наличие), то будущий вождь в октябре 17-го — и даже несколько позже, в годы кавалерийской атаки на капитал — был обречён на роли второго плана. Его правизну раздражённо, но зорко, подмечает с противоположного фланга Троцкий. Тактическая или стратегическая борьба с «уравниловкой» на внутренней арене, критика теории перманентной революции (на словах или на деле) применительно к внешнему курсу, едва завуалированная акцентировка национальной принадлежности своих политических недругов — всё это элементы правого дискурса и праксиса. Я не поклонник Троцкого. Никогда не ставил на левую карту, отмечая, как нежизнеспособную, идею равенства. Всегда обращал внимание — и в себе, и в других — на этнические черты, признавая их базовыми для людей. Тем не менее должен констатировать справедливость многих критических выпадов Троцкого против Сталина<sup>12</sup>. Очевидно, правый выбор достаточно вариативен. Вместо равенства — иерархия, это понятно. Вот только какая: косная, характерная для ординарного традиционализма? пластичная, атрибутивно присущая проекту консервативной революции? рыхлая, свойственная тоталитаризму? Безликая, маргинально-бюрократическая или с выраженным человеческим лицом? Чиновничья пирамида, сооружённая Сталиным и вознёсшая его на пьедестал, опиралась на деклассированные элементы, на «лишних людей», которых сама и производила, манипулируя темпами индустриализации и коллективизации. Оторванные от земли — а не исключено, что и сами не особенно желавшие на ней трудиться, да и вообще где-либо трудиться умело и качественно, — перестав быть крестьянами, они так и не стали настоящими горожанами. Сформировалось охвостье неуверенных в себе социальных единиц, ищущих опору во внешней силе и без всякого сопротивления перестраивающихся по её произволу. Оно гото-

ва воспринимать и тиражировать самые бредовые лозунги власти. Его потомство сохраняет предрасположенность к такому типу поведения.

Ориентируясь на канон экзистенциальной философии, я не склонен резко противопоставлять радикальный подъём масс индивидуалистическому бунту, а тем более возвышать массовое действие над индивидуальным. Скорее наоборот, Александр Ульянов мне ближе и понятнее Владимира Ульянова. Неудивительно, в общем. Мы и родились в одном городе, и по университетскому образованию — оба естественники, и классиков в юности прочитывали, как выясняется, схожим образом. Среди всех персонажей «Войны и мира» симпатии отданы обоими офицеру Семёновского полка Фёдору Ивановичу Долохову. Замечательный пример для молодёжи: в спокойные времена — осушить бутылку на карнизе и озорно подшутить над квартальным, в тревожные дни — весело биться насмерть с захватчиками. Куда там до него этим малахольным рефлекторам, Пьеру и князю Андрею! Вот и в старшем из братьев Ульяновых привлекает отчаянная самостоятельность. Никого не подстрекать, ни под кого не подлаживаться; захотел что-то сделать — сделай сам!

В русской революции ценю в первую очередь не социальное, а нравственно-эмоциональное и эстетическое содержание. Великая социальная революция была одна, во Франции двести с лишним лет назад. Она навсегда покончила с традиционным (кастово-сословным) обществом и открыла широкую дорогу обществу модерна (классовому или бесклассовому, но одинаково несословному). Все последующие революции, включая социалистические, дают лишь временный общественно значимый результат в модерновом круговороте «капитализм — социализм». Экзистенциальный успех революция празднует тогда, когда к власти, пусть на короткий срок, приходят достойные люди. Сталин, думается, не из их числа. Умный и независливый притягивает себе подобных, во всяком случае, не уничтожает их. Подозрительный стратег (коли он действительно стратег, а не озлобленная властолюбивая посредственность) будет без сантиментов чистить свой аппарат, генералитет и агитпроп, но не станет гнобить крепкого крестьянина, грамотного инженера и небесталанного учёного. Вульгарен сталинский прагматизм. Неужели не совестно в военное лихолетье взывать к «братьям» и «сёстрам», которые раньше, когда трону ничего не угрожало, именовались по классовой разрядке «рабочими» и «колхозниками»! Нако-

<sup>12</sup> См.: Троцкий Л. Сталин. М.: Терра, 1990. Т. 1. 323 с.; Т. 2. 303 с.

нец, главная претензия к персоне вождя. Не пресёк, напротив, поощрял практику доноительства на ближних, цинично играя на слабости людской. О чём тут ещё говорить!

Сталин — не революционер. Он — менеджер, технический директор по государственному строительству безотносительно к содержательному наполнению производимых работ. Идейным социалистом его тоже не назовёшь. Тем, кто придер-

живается полярного мнения, предлагаю ещё один мысленный эксперимент. Войди сюда к нам сейчас Павка Корчагин и Эрнесто Че Гевара, кого бы они первым поставили к стенке: меня, экзистенциально критикующего сталинизм, или апологетов Сталина, видящих в нём революционера и социалиста (коммуниста)? Уверен, шансов написать ещё одну философскую статью у меня останется куда больше, чем у моих оппонентов.

### Список литературы:

1. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлёт и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Кашаева. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 400 с.
2. Арто А. Сюрреализм и революция / пер. с франц. Г. Смирновой // Арто А. Театр и его Двойник. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 243–252.
3. Бегбедер Ф. Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей: Эссе / пер. с франц. И. Волевич. М.: FreeFly, 2006. 191 с.
4. Бухаров Д.Н. Сущностные свойства и потребности как источник идентичности человека. // Философия и культура. 2013. № 5. С. 709–717.
5. Гранин Р.С. Экзистенциальная эсхатология Николая Бердяева. // Философия и культура. 2012. № 11. С. 63–71.
6. Гуревич П.С. Кладезь исторического знания. Обзор исторических исследований // Филология: научные исследования. 2012. № 4. С. 88–96.
7. Джафарова Дж.Т. Экзистенция старости // Философия и культура. 2012. № 12. С. 71–77.
8. Доманска Э. Философия истории после постмодерна / пер. с англ. М.А. Кукарцевой. М.: Канон+, Реабилитация, 2010. 400 с.
9. Дриё ла Рошель П. Дневник, 1939–1945 / пер. с франц. под ред. С.Л. Фокина. СПб.: Владимир Даль: Ювента, 2000. 602 с. (<http://www.fedy-diary.ru/html/062012/06062012-03a.html>).
10. Кундера М. Бессмертие: Роман / пер. с чеш. Н. Шульгиной. СПб.: Азбука-классика, 2004. 384 с.
11. Прохоров М.М. Социальность мышления и ее негация // Филология: научные исследования. 2013. № 4. С. 324–334.
12. Румянцева М.Ф. О культурной составляющей исторического знания // Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 3. С. 7–13.
13. Соловьёв В.С. По поводу последних событий // Соловьёв В.С. Собр. соч.: В 10 т. СПб.: Просвещение, 1911–1914. Т. 10. С. 222–226.
14. Спирова Э.М. Зарастание трансцендентной тропы // Психология и психотехника. 2012. № 11. С. 12–20.
15. Толстенёва У.Л. Субъективный смысл личностной экзистенции // Педагогика и просвещение. 2013. № 2. С. 135–141.
16. Троцкий Л. Сталин. М.: Терра, 1990. Т. 1. 323 с.; Т. 2. 303 с.
17. Фатенков А.Н. Экзистенциальная онтогносеология: концептуальные штрихи // NB: Философские исследования. 2012. № 2. С. 166–199. (URL: [http://www.e-notabene.ru/fr/article\\_151.html](http://www.e-notabene.ru/fr/article_151.html)).

### References (transliteration):

1. Ankersmit F.R. Istoriya i tropologiya: vzlet i padenie metafory / per. s angl. M. Kukartseva, E. Kolomoets, V. Kashaeva. M.: Progress-Traditsiya, 2003. 400 s.
2. Arto A. Syurrealizm i revolyutsiya / per. s frants. G. Smirnovoi // Arto A. Teatr i ego Dvoinik. SPb.: Simpozium, 2000. S. 243–252.
3. Begbeder F. Luchshie knigi XX veka. Poslednyaya opis' pered rasprodazhei: Esse / per. s frants. I. Volevich. M.: FreeFly, 2006. 191 s.

4. Bukharov D.N. Sushchnostnye svoistva i potrebnosti kak istochnik identichnosti cheloveka // *Filosofiya i kul'tura*. 2013. № 5. S. 709–717.
5. Granin R.S. Ekzistentsial'naya eskhatologiya Nikolaya Berdyaeva // *Filosofiya i kul'tura*. 2012. № 11. S. 63–71.
6. Gurevich P.S. Kladez' istoricheskogo znaniya. Obzor istoricheskikh issledovaniy // *Filologiya: nauchnye issledovaniya*. 2012. № 4. S. 88–96.
7. Dzhafarova Dzh.T. Ekzistentsiya starosti // *Filosofiya i kul'tura*. 2012. № 12. С. 71–77.
8. Domanska E. *Filosofiya istorii posle postmoderna* / per. s angl. M.A. Kukartsevoi. M.: Kanon+, Reabilitatsiya, 2010. 400 s.
9. Drie la Roshel' P. *Dnevnik, 1939–1945* / per. s frants. pod red. S.L. Fokina. SPb.: Vladimir Dal': Yuventa, 2000. 602 s. (<http://www.fedy-diary.ru/html/062012/06062012-03a.html>).
10. Kundera M. *Bessmertie: Roman* / per. s chesh. N. Shul'ginoi. SPb.: Azbuka-klassika, 2004. 384 s.
11. Prokhorov M.M.. Sotsial'nost' myshleniya i ee negatsiya // *Filologiya: nauchnye issledovaniya*. 2013. № 4. S. 324–334.
12. Rumyantseva M.F. O kul'turnoi sostavlyayushchei istoricheskogo znaniya // *Istoricheskii zhurnal: nauchnye issledovaniya*. 2012. № 3. S. 7–13.
13. Solov'ev V.S. Po povodu poslednikh sobytii // Solov'ev V.S. *Sobr. soch.: V 10 t.* SPb.: Prosveshchenie, 1911–1914. T. 10. S. 222–226.
14. Spirova E.M. Zarastanie transtsendentnoi tropy. // *Psikhologiya i psikhotehnika*. 2012. № 11. S. 12–20.
15. Tolsteneva U.L. Sub'ektivnyi smysl lichnostnoi ekzistentsii // *Pedagogika i prosveshchenie*. 2013. № 2. S. 135–141.
16. Trotskii L. Stalin. M.: Terra, 1990. T. 1. 323 s.; T. 2. 303 s.
17. Fatenkov A.N. Ekzistentsial'naya ontognoseologiya: kontseptual'nye shtrikhi // NB: *Filosofskie issledovaniya*. 2012. № 2. S. 166–199. (URL: [http://www.e-notabene.ru/fr/article\\_151.html](http://www.e-notabene.ru/fr/article_151.html)).